

В Ф И Д Ю

**ЛЕОНИД
ЗОРИН**

**Новая книга от автора
легендарных
«Покровских ворот»,
«Царской охоты» и
«Выкреста»**

**Д
И
Ф
Ь**

Леонид Зорин

Юдифь

«Яуза»

2014

Зорин Л. Г.

Юдифь / Л. Г. Зорин — «Яуза», 2014

В каждой женщине есть что-то от библейской Юдифи, отрубившей голову Олоферну. Любовь зачастую превращается в смертельный поединок, «горячку», «помешательство», «амок». И разгадать «женские секреты» не по силам даже опытному разведчику-нелегалу... **НОВАЯ КНИГА** от автора легендарных «Покровских ворот», «Царской охоты» и «Выкреста» – именно о такой «любви-наваждении», в которой не жаль «потерять голову». О роковом влечении, пронесенном через все катаклизмы и войны XX века. О том, что не только в разведке и диверсионных рейдах, но и в любви «твоя ставка – жизнь».

© Зорин Л. Г., 2014

© Яуза, 2014

Содержание

Юдифь	5
Габриэлла	20
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Леонид Зорин

Юдифь

Юдифь

Маленькая повесть

Не буду называть его имени. Пусть он останется безымянным. Так жил он большую часть своей жизни. Наверяд ли бы он захотел огласки. Стало быть, следует промолчать. Кто его вспомнит, тот догадается.

Впервые увидел его так давно, что даже становится страшновато. В другом столетии, в другой жизни – в самом конце сороковых или в начале пятидесятых.

Однажды театр Советской армии меня пригласил посетить просмотр только что выпущенной пьесы. В театре этом бывал я редко, он подавлял меня монументальностью, своими чрезмерными габаритами, громадным залом, громадной сценой – не только зрители, но и актеры казались песчинками в пустыне. Если бы мог я тогда предвидеть, что не пройдет и десятка лет и этот театр на долгие годы займет в моей жизни особое место!

Пьеса, которую мне предстояло увидеть в тот день, была о разведчиках. На эту тему писалось и ставилось великое множество пьес и спектаклей. Что объяснялось достаточно просто. Подвиг советского человека был обрамлен детективным сюжетом, а положительный персонаж не вызывал непереносимой скуки. Артисты играли не без плезира, публика заполняла ряды. Все стороны оставались довольны. Правда, любое новое действие не отличалось от предыдущего, но это казалось почти обязательным. Входило в условия игры.

На сей раз, едва ли не с первой реплики, я ощутил, что смотрю другую, какую-то непривычную пьесу. В ней было нечто несочиненное и достоверное, плоть и быт. Русские люди в китайском городе имели свои незаемные судьбы, и даже герой произведения, агент, нелегал, никого не учил, не заявлял о готовности к смерти, не присягал на каждом шагу в любви к своей партии и отчизне, а занимался своими обязанностями. Какие-то линии провисали, слово могло быть и побогаче, но это прощалось – не было фальши.

В антракте широко улыбающийся заведующий литературной частью сказал мне: «Вы приглядитесь к автору. Герой, между прочим, это он сам. Автобиографический опус». Слова эти многое прояснили.

Аплодисменты звучали долго. Зрители вызывали актеров, те, в свою очередь, вызвали автора. Внешность его меня удивила. Похоже, что не меня одного.

За время спектакля мы все успели привыкнуть к эффектному красавцу, делавшему во имя родины свое лихое шпионское дело. Теперь мы были обескуражены столь очевидным несовпадением.

На сцене среди довольных артистов стоял человек, не походивший ни на смазливое лицедея, исполнившего главную роль, ни вообще на драматурга, ни уж тем более на дебютанта. По виду – лет сорока с небольшим, среднего роста, чуть мешковатый. Плечи его нелепо вздернуты, грудь резко выдается вперед таким странным остроугольником. Редковолосый, с покатым лбом, с глазами неопределенного цвета. Во взгляде – безучастном, отсутствующем – необъяснимая отрешенность.

От этого пепельного лица осталось неясное впечатление размытости, стертости и невнятности. Наверно и опытный портретист не смог бы его воспроизвести. Эти невылепленные черты с пугающей быстротой растворялись в каком-то молочном парном тумане. Впрочем, я быстро сообразил, что это и есть лицо лазутчика – оно не должно запоминаться.

Вскорости мы свели знакомство. Он стал появляться в клубе писателей, бывал там едва ли не ежевечерне, посиживал в ресторане за рюмочкой, неспешно поглядывал на завсегдатаев. Но дело тут было не в интересе к занятой и малознакомой среде, или вернее – не только в нем. Не составляло труда догадаться, что на людях ему легче и проще. И все же почти ни с кем не сходил. В кругу беспокойных, самолюбивых, всегда озабоченных литераторов он чувствовал себя чужаком.

Как видно, я вызвал его симпатию. Я тоже не слыл своим в этом улье, стал москвичом совсем недавно, был очень молод, незащищен, пожалуй, как он сам, инороден – меж нами возникла не то чтобы близость – навряд ли могла она завязаться с таким бронированным человеком, – но некое тонкое волоконце, которое с годами окрепло.

Однажды в одно и то же время мы оба очутились в Крыму, в декоративном портовом городе. С благою целью – прийти в себя от шумной круговерти столицы, посылно разгрузить свои головы и, может быть, сочинить нечто путное.

Мы знали друг друга не первый день – уже полтора десятка лет. Ближе не стали, держали дистанцию, однако взаимное доверие в те годы тоже немало весило. Мы часто и со вкусом общались.

Была середина шестидесятых. Стоял великолепный февраль, теплый, безветренный, бархатистый. Днем мы трудились, по вечерам обычно прохаживались по набережной – в это несезонное время народу на ней было немного. Торжественное Черное море дышало солью и терпким хмелем, предвестьем таврической весны. Усталая ручная волна просительно, без надежды, чуть слышно стучалась в каменный парапет.

В один из таких вечеров, не сговариваясь, свернули в кривую ближнюю улочку, там был весьма уютный шалманчик, уселись за столиком в углу, чокнулись, меланхолично выпили по стопочке, потом – по другой и закусили горячее зелье ломтиками хрустящего хлеба с коричневатой прохладной ставридой.

Мне было известно, что он попивает, раз или два его наблюдал под легким хмельком, он становился чуть разговорчивее – и только. Сегодня, однако, больше молчал.

Толстый скрипач с овальной лысиной, прикрыв миндалевидные очи виевыми тяжелыми веками, наигрывал печальный мотивчик – от водки, от музыки, от обстановки, близости моря, крымской истома мы оба разнежались, помягчели, нехитрая лирика подчинилась, вдруг захотелось пооткровенничать. Он вежливо спросил, чем я занят. Название пьесы ему понравилось. Он медленно повторил:

– «Варшавянка»...

И усмехнулся:

– Воспоминание?

Я отозвался:

– Прекрасная тень.

Он понимающе кивнул:

– Название славное. Обнадёживает.

Впоследствии я его заменил. Вернее, был вынужден заменить. В Москве мне напомнили, что «Варшавянка» – это революционная песня. Пьесу назвал я «Варшавской мелодией».

Он веско заметил, что варшавянки, как правило, женщины с секретом, который хочется разгадать. Женщина этим и притягательна, суть ее глубоко запрятана. Она закрыта на семь замков, и к каждому нужно найти свой ключик. Но если она чует в мужчине запах судьбы, а кроме того, его расположенность к гусарству, эта задача ему по силам.

Я уж заметил, что он тяготел к книжной витиеватой лексике, не совпадавшей ни с его обликом, ни с поведением, ни с характером. Потом я подумал, что эти изыски, лукавое кокетство с архаикой, с одной стороны – уведят от будничности – ее он, как видно, не выносил, – с другой стороны, так сохраняется необходимая ирония, дающая свободу маневра.

Я тоже выразил интерес к тому, что он пишет. Пьесу? Да, пьесу. О чем же она? О том, что знакомо и пережито, оставило рубчик. Действие происходит в Китае. Я, как вы знаете, китаист. Есть интересные женские роли? Надеюсь, что будут. Ведь китайки – самые прелестные дамы. Самые преданные на свете.

И после паузы произнес:

– Но женщиною всей моей жизни стала совсем не китайка.

То было предисловие к исповеди. Но прежде была еще одна стопка. После нее он заговорил. Рассказывал холодно и бесстрастно, никак не окрашивая интонации. Порою на белых его губах привычно возникала усмешка, но он почти сразу ее гасил.

– Служба моя началась давно. Лет тридцать назад, если не больше. Естественно, нынче я не служу, разве что музам, но говорят же – наш брат не уходит ни в запас, ни уж тем более в отставку. Один мой учитель любил повторять: чекизм – не служба и не профессия, а состояние души. Хотя начиналось шероховато и поначалу не все меня радовало.

Этому есть свое объяснение. Я был совсем молодой человек, пришел за романтикой, за опасностью, мечтал о подвигах и о славе, как почитаемый нами Блок. Слава, конечно же, в нашем деле чисто условное понятие, ты должен готовить себя к безвестности и находить в ней свою приятность, но кроме славы есть репутация. А самое главное – весь свой век ведешь разговор с самим собою, и разговор достаточно жесткий. Спрашиваешь себя в упор: кем оказался ты на поверку? По нраву, по силам тебе гусарство? Готов ты услышать вызов судьбы? Не только услышать, но и ответить? Ответить как подобает мужчине. Самый безжалостный разговор.

Но никакой романтики не было. И сам я оказался на службе не более чем чернорабочим, и служба была, скажу откровенно, такой же постылой черной работой. Мне приходилось участвовать в обысках, которые часто тогда проводились у состоятельных людей. Все обнаруженные ценности безоговорочно изымались – тут приговора суда не требовалось. Работа муторная, противная.

Понятное дело, я сознавал, что нашей социалистической родине жизненно необходима валюта, но это – теория, а на практике роешься в тряпье и перинах, засматриваешь в шкафы и кубышки, видишь растерянные лица, кто-то заламывает руки, всхлипывает, что-то бормочет, а сам ты не можешь понять, кто ты есть – не то представитель диктатуры, страж государства, не то налетчик. В общем, паршивое ощущение. Те, кто постарше, меня поддерживали, внушали: не тушуйся, не кисни. Не дергайся – служба сопливых не любит. Словом, держи хвост пистолетом. Я соглашался, а все же – поташнивало.

Ту ночь я помню во всех подробностях. Такая была тишайшая улочка, мощеная, деревца и кустики. Парадный подъезд. Широкая лестница. Поднялись на второй этаж. Долго звонили. Все как обычно.

Прихожая длинная и вместительная. Не та, что в московских коммуналках. Стояли вешалка и гардероб. Но мы в ней надолго не задержались. Дальше была не то гостиная, не то столовая – главная комната. В центре – громадный стол, у стены – очень изящное пианино. Роскошная вещь, известная марка. Кто-то из наших приподнял крышку, шлепнул своей ручищей по клавишам, и словно в ответ на раздавшийся звук, очень похожий на громкий стон, открылась дверь из соседней комнаты и вышла совсем молодая барышня, брюнеточка, хозяйская дочь.

Она была в легком ночном халатике, из-под которого будто выглядывали две бронзовые голые ножки. Бывают особые минуты, когда твое зрение так обостряется, что видишь человека сквозь ткань в его, если можно сказать, первозданности. Вот я и видел перед собой с какой-то потусторонней ясностью всю эту ладную фигурку – вроде бы хрупкую, но и сильную, бывает такое не слишком частое, очень воздействующее сочетание.

Словом, смотрел не отрываясь. И что удивительно, она тоже ответила пристальным долгим взглядом. В нем не было ничего враждебного, больше того, в нем был интерес. И вот, когда

глаза наши встретились – мне даже почудилось, что сомкнулись, – я словно принял сигнал судьбы.

Коллизия, доложу я вам! Представьте как человек театра эту безумную мизансцену. Идет конфискация драгоценностей. Родители стоят неподвижно. Молчат, как жертвы Гражданской войны. Воздух сгущается, точно в колбе. А мы с этим смуглокожим бесенком как будто выпали из пространства. Только и пялимся друг на друга.

Что я испытывал – не расскажешь. Корчился, словно на сковородке. Тут и досада, и стыд, и злость. На эту чертову конфискацию, на жизнь, на себя, на нее. Какая-то горячая смесь. Хотелось провалиться сквозь землю. И мысль одна: скорей бы все кончилось, скорей бы окатиться подальше, где-нибудь на краю Москвы.

Первой опомнилась ее мать. Почувствовала, что дочка в опасности. Чуть слышно окликнула:

– Юдифь...

Но дочь не ответила, промолчала. И вдруг – улыбнулась. Да. Улыбнулась. Дорого бы я дал, чтоб понять, что означает эта улыбка.

В тот день я словно дал себе клятву: уйду из отдела, чего бы ни стоило. И в самом деле – ушел туда, куда стремился, о чем мечтал. В высшую школу внешней разведки.

Очень серьезное заведение. Три года нас учили на совесть. Тоже и мы себя не жалели. Как сказано, сошло семь потов. А по-иному и быть не может. В этой игре твоя ставка – жизнь. Но знаете, я никогда не жаловался. Чувствовал кожей: это – мое.

Настала пора защитить диплом. Я получил такое задание: вывезти из германской столицы, славного города Берлина, нашего ценного агента, фройляйн невероятной отчаянности. Она себя здорово проявила, и служба с ней связывала надежды. Ей предстояло большое плаванье. С одной стороны, звериная цепкость, с другой – ненормальное хладнокровие. Движение к цели – неукоснительное. При этом – никаких колебаний. Если придется, то – беспощадна. Шарлотта. Белокурая бестия.

Как вывезти немецкую девушку, которую к тому же пасут? Я вышел из сложного положения простейшим образом – я женился. Уехал из Москвы холостым, вернулся женатым человеком.

Понятное дело, к этому браку отнесся я не слишком серьезно. Был убежден, что сразу расстанемся. Но выяснилось: не так все просто. Чужая земля, чужие люди. Кроме меня у нее – никого. Тем более я – законный муж. Осталась она в моей квартире. Как говорится – там будет видно.

В Москве набирала силу весна. Я жил в приподнятом состоянии. Диплом защитил, с заданием справился. А впереди еще целая жизнь, отмеченная знаком судьбы, опасная, на лезвии бритвы. Желанная гусарская жизнь.

Нам выдали парадную форму. Белого цвета с вишневым кантом. Такая же белая фуражка с широкой тульей, слегка заломленная. Помню, как я застыл перед зеркалом – не узнаю самого себя. Выгляжу, как киногерой.

В майский великолепный полдень вышел из дома – пройтись по столице. Город после зимы прихорашивался. Тверская тогда была еще узкой, петляла, народу – не протолкнешься. Но я шагал гордо, как ледакол. И независимо, по-хозяйски. Ноги пружинили.

Сами свернули в проезд Художественного театра. У касс, как всегда, толпилась очередь. Висели афиши с репертуаром. Напротив театра, в кафе «Артистическое» – ни одного свободного столика. Встречные люди мне улыбались. Я ощущал полноту этой жизни. И тут на самом углу, на Петровке, столкнулся – нос к носу – с Юдифью.

Она была такая же стройная московская липка, такая же гибкая, и даже смуглость была все та же. Но взгляд изменился. Теперь это был взгляд взрослой, уверенной в себе женщины.

Меня узнала мгновенно, с ходу. Остановилась. Мы оба замерли, молча разглядывали друг друга.

Она спросила:

– Так сколько лет мы с вами не виделись? Три года? – голос был низкий, густой, контральтовый.

– Именно так.

– Серьезный срок. Все хорошо?

– Да, все по графику. Годы ученья завершены.

Она негромко произнесла:

– Вы думали обо мне?

– И часто.

Она проговорила:

– Я тоже.

И неожиданно покраснела.

Мне, безусловно, были приятны ее слова и ее смущение, но – удивительное дело! – мой розовый весенний кураж растаял, точно его и не было. Так жалко мне стало этих трех лет, такая взметнулась обида на жизнь – она ведь их попросту уворовала. Настолько испортилось настроение, что скрыть это было мне не по силам. Юдифь спросила:

– Что-то случилось?

– Случилось. Мне хочется с вами увидеться.

– Так приходите к нам. Хоть сегодня.

Я задал осторожный вопрос – как взглянут на это ее родители. Выяснилось, что отец ее умер, мать редко встает со своей постели, болеет, в дела Юдифи не вмешивается – дочь теперь стала главой семьи. Впрочем, семья эта не похожа на ту, что была, печальный осколок. Надо привыкать к новой жизни, прежней уже никогда не будет.

Я понимал, что ей нелегко, но понимал это умозрительно. И детство мое прошло без семьи, и молодость была одинокой. Мои товарищи – те, с кем служил, и те, с кем учился, – семьей не стали. Особенно – спутники по школе. Мы даже намеренно не сближались – ведь каждому из нас предстояла особая, отдельная жизнь.

Должен признаться вам без утайки, я в этот день торопил часы, просто не мог дожидаться вечера. Когда стемнело и я отправился к ней в гости, по знакомому адресу, то волновался, точно подросток. И вот я вошел в тот самый подъезд, и поднялся на второй этаж, и будто застыл перед той же дверью, не сразу нажал на белую пуговку.

Мы провели вдвоем этот вечер. Матери я так и не видел. Либо и впрямь была так плоха, либо не захотела выйти. Юдифь приготовила славный ужин, а вскоре – лишь несколько дней спустя – такой же обильный и вкусный завтрак. Я приходил к ней ежевечерне, какое-то наваждение, амок, было в то время такое слово.

С самого первого часа я чувствовал, что наша горячка обречена. Она была огненным существом, природа и далекие предки ее одарили неутолимой, какой-то неиссякающей пылкостью. Порой ее страсть была чрезмерной. Но я в ту пору был ей под стать.

Только умеренные, уравновешенные, дистиллированные отношения способны на длительность и протяженность. Воздух, которым мы с нею дышали, был словно начинен динамитом, а всякая пороховая бочка – раньше ли, позже ли – должна взорваться. Мы пребывали в почти болезненном, взвинченном, вздернутом состоянии. Оно походило на исступление, на бешенство, а порою – на ярость. Казалось, Юдифь потеряла голову. Ей было нужно, необходимо, чтоб я ей принадлежал целиком.

Я спрашивал себя то и дело: чем я привлек ее, что с нею сделалось? В конце концов, внешностью я не вышел, на этот счет никогда не обманывался. Родственных свойств не нахо-

дил. Мы были с ней разными растениями. И выросли мы на разной почве, и биографии шли параллельно. В сущности, даже невероятно, что мы однажды пересеклись.

А те постыдные обстоятельства, которые нас с нею свели, должны были нас сделать врагами и только ожесточить наши души. Но уж никак не швырнуть друг к другу, толкнуть в эту топку, в одну постель.

И тем не менее – так случилось. Я находил тому объяснение: она ощутила запах судьбы. Он сразу же подавляет в женщине способность и волю к сопротивлению. Я это видел неоднократно.

Со временем я рассказал Юдифи о том, как я жил и как я живу. Я знал, что она болтать не будет, что я ей вполне могу довериться. Само собой, был скуп на подробности, но все-таки дал ей ясно понять – то было моей душевой потребностью, – что у меня другая работа, уже не хожу с ночными обысками, не потрошу чужих сундуков. Пришлось ей сказать о своей нелепой и несуразной семейной жизни, о том, как угодил в мышеловку. Юдифь ничего в ней не поняла – какая-то подмена и фикция. Быть может, мне просто рекомендовали поддерживать этот странный статус?

Эти жестокие слова были по – своему справедливы. Моя наружная, внешняя жизнь и впрямь была подменой и фикцией. И я не всегда ею распорядился. Но очень возможно, если добраться до настоящей, несочиненной, у вас пройдет холодок по коже. Моя ли в этом вина? Не знаю.

В одну из ночей, уже на рассвете, меж нами произошло объяснение. Она спросила без экивоков: вижу ли я ее в своей жизни? Именно – в жизни, а не в кровати. Мой нынешний брак – это пародия. Пародия длиться вечно не может. Хочу я иметь жену и друга?

Что мог я ответить? Недавно начальство мне посоветовало, как говорится, денно и нощно учить многотрудный китайский язык. Мне надо было серьезно готовиться к рассчитанной на долгие годы командировке в страну работы. Оттуда можно и не вернуться. Могу я обречь домашнюю барышню на тяжкую участь жены нелегала? К тому же я был совсем не уверен, что выбор мой будет одобрен и понят.

Но этого сказать я не мог. Я попросил ее мыслить трезво: будущее мое неясно. Всего вероятней, что я уеду. Когда я вернусь, никто не знает, даже высокое начальство. Шарлотта подобное расставание перенесет без особых тягот, она и сама не сидит на месте, что же касается Юдифи, то это не та семейная жизнь, которая может дать ей радость.

Она меня выслушала спокойно и холодно сказала:

– Слова. Я знала, что вы – большой альтруист. Все это очень самоотверженно. Кажется, и Шарлотта Павловна значит для вас гораздо больше, чем это можно было подумать.

Я был обижен и ее тоном и тем, что она с такою легкостью меня обвинила в лицемерии. И сухо ответил ей:

– Ошибаетесь. Я в самом деле хочу вам счастья. Жаль, что вы этого не цените.

Она изобразила улыбку:

– Нет, почему же? Ценю – и очень. Хочу известить вас, мой повелитель, что я намерена выйти замуж. Мне предложили руку и сердце.

– И кто он?

Юдифь назвала имя очень известного поэта.

Бесспорно, это был лучший выход из нашего общего тупика, но мне не стало от этого легче – почувствовал и тоску, и ревность, самую неподдельную боль. И снова подумал, как шутит жизнь. Соединила двух разных людей с разными непохожими судьбами. И вот – с опозданием – спохватилась и обрубаёт эту ненужную, противоестественную связь. Все верно и в сущности справедливо – Юдифи достанется человек, который славен и популярен, а лучшее, что могу я сделать, – остаться никому не известным.

Я так и не смог совладать с обидой и глупо, по-мальчишески, буркнул:

- Любят не славу, а человека.
- Она вздохнула, потом сказала:
- Я буду любить талант человека.

Вот так мы простились. Она осталась вместе с поэтом в московской жизни, меня же вскорости ждал Китай.

...Когда он заговорил о Китае, я сразу же понял, что эта страна – заветная часть его души. Может быть, даже он сам с годами стал частью этого материка. Он врос в ее медленное вращение, в ее человеческий муравейник, который неслышно перемещается в пространстве и времени нашей Галактики – строит дома, ворочает камни, а если уж звезды сошлись, то воюет. Если приходится – десятилетиями. Шажок за шажком и век за веком охватывает обручем глобус. Выработал, выносил, выстрадал свой свод законов и представлений, свое ощущение мира и космоса. Все взвешено, сочтено, измерено и все оценено по достоинству. От собственной, выпавшей тебе участи до преходящей судьбы поколений. Жизнь мгновенна, мгновение длительно. Однако и тысяча лет – мгновение. Нельзя посягать на течение вод. «Хома угей» – пусть идет как идет. В этой по виду фаталистической и приспособляющейся мудрости таится невидимая энергия.

Он скуп и сдержанно говорил о том, как провел все эти годы. Но когда речь зашла про Харбин, стал доверительней и щедрее. Я понял, что в его одиссее Харбин занимает особое место. И он сумел оживить этот город, раскрыть его опасную двойственность. И обиход китайской провинции, и темный быт эмигрантской диаспоры. Устойчивую дневную жизнь и зыбкую призрачность вечеров. Казалось, что город прячет свой облик под этакой дымчатой чешуей, сто раз на дню меняющей цвет. Он и поеживается от близости непредсказуемого соседа и вместе с тем готов огрызнуться – охотно дает приют беглецам, плетет незримую паутинку.

– Я снова оказался в Москве в тридцать девятом, в горячем августе. Москва смотрелась веселой, праздничной, недавно с немалым шумом открылась Сельскохозяйственная выставка, и москвичи устремились толпами увидеть новый парад достижений – слепило глаза от белых сорочек, от длинных, пестрых, цветастых платьев. Женщины все же ухитрились вносить какое-то разнообразие – были и красивые блузки и всякие шейные платочки, были беретки на головках.

Страна за время моей отлучки хлебнула порядком: сначала внутри – повоевала с родными гражданами, потом – на границе, на Дальнем Востоке. Там произошла проба сил. Первая – позапрошлым летом на озере Хасан, а вторая – еще через год, на Халхинголе. Косвенно я принял участие в этой совсем нешуточной драке – но это отдельная история.

С Шарлоттой мы встретились дружелюбно и буднично – словно я был в санатории. Что она делала в эти годы, насколько образцово оправдывала возложенные на нее надежды, я не допытывался – зачем? Две наши жизни не пересекались.

Я сразу решил позвонить Юдифи. Возможно, она сочтет ненужной или опасной нашу с ней встречу – пусть так, хотя бы услышу голос.

Узнать ее телефонный номер, как понимаете, было несложно. Мне повезло, я застал ее дома.

- Юдифь, добрый вечер.
- Она помолчала. Потом откликнулась еле слышно:
- Вернулись из командировки? Давно?
- Я уже сутки в Москве. Придете?
- Ответ ее меня восхитил:
- Вы знаете, что приду. Куда?

Естественно, был у меня адресок. Как говорится, для важной надобности. Более важной и быть не могло.

Когда она позвонила в дверь – звонок был нетерпеливый, требовательный – сердчишко мое заколотилось. Такого я за собой не помнил и в более острых обстоятельствах. Потом мы разглядывали друг друга, при этом не говоря ни слова. Это звучит неправдоподобно, но так оно было – слова не шли.

Есть очень распространенный взгляд: еврейки, дожив до тридцати, теряют талию, пухнут в бедрах. Возможно, что так, однако к Юдифи это касательства не имело. Все та же натянутая струна! Кажется, только коснись – зазвенит.

Прошло не менее получаса, прежде чем мы с нею опомнились, очнулись и дух перевели.

Естественно, я сразу спросил:

– Как ваш поэт? Творит шедевры?

Она ответила не без яда:

– Не сомневайтесь. С моею помощью. У нас два мальчика. Что у вас? Ваша семейная жизнь все тянется?

Я лишь вздохнул:

– Куда она денется?

Она повела своим голым плечиком:

– Лихо вы сами с собой расправились.

Слова эти прозвучали жестоко. Но мысленно я с ней согласился.

Она почувствовала: попала. В незащищенное местечко. И улыбнулась. Потом осведомилась:

– За что вам навешали ордена?

Я был задет ее усмешкой и неожиданно для себя сказал ей:

– Если вам интересно, я расскажу, как убил Барвинского.

Она чуть вздрогнула.

– Вы смеетесь?

– Ну что вы, Юдифь... Какой тут смех.

Он рассказал и эту историю. Барвинский был адъютант Лукина, известного в округе человека – в ту пору командира дивизии. Когда началась большая кровь и вместе с другими нашими маршалами расстрелян был Блюхер, который ценил его, двигал по лестнице, опекал – по крайней мере, так многие думали, – этот Лукин бежал за кордон и прихватил с собой Барвинского. Понять его, в сущности, было можно – навряд ли бы он уцелел в мясорубке, однако Москва пребывала в бешенстве. Впервые военный такого ранга ушел к вероятному противнику. А кроме того – ушел из рук. Понятно, что трибунал не замедлил приговорить их обоих к вышке. Дело за малым – возможно скорее суметь привести приговор в исполнение.

– Меня пригласили в один кабинет, и очень могущественные люди велели представить соображения. Я попросил у них две недели. После чего я их изложил.

Во-первых, мне требовался человек, кому бы я мог доверять всецело и на кого бы я мог положиться. Был у меня один кореец, который полностью соответствовал. А во-вторых, из всех вариантов я выбрал бегство из заключения, благо недалеко от границы был хорошо охранявшийся лагерь. Одно лицо, максимум два лица из высшего лагерного начальства следовало ввести в курс дела. Никак не больше. В противном случае успех не может быть гарантирован.

Мои предложения были приняты. Я получил моего корейца в свое безусловное распоряжение. Потом нас арестовали, был суд, мы получили семь лет заключения и были направлены по этапу в зону – мотать полученный срок.

Публика там была разнородная. Большею частью, как всем теперь ясно, люди, попавшие под колесо, но встретились и серьезные волки – первостепенные уркаганы. Они попытались нам объяснить, что мы здесь не на блинах у тещи, но мы у них шороха навели, и кантоваться там стало проще. Но зимовать мы не собирались – ни землю кайлить, ни лес валить – стали готовиться к побегу.

Недолго ходил я в зэках, недолго, и зэк я был липовый – маскарад. А все-таки эти четыре недели запомню до скончания дней. Не то чтобы это было открытие, какое открытие для чекиста? Но то, что воспринимаешь кожей, это совсем иная жесть. Раньше я жил в одной стране. Вот довелось пожить в другой.

Это еще одно государство, и в нем порою свободы больше, чем в том, что осталось на воле, за проволокой. В том смысле, что люди не врут, не жмутся. Но только свобода не больно греет, она ведь мало кому нужна – нам, русским, подавай справедливость.

Кого там не видел, кто там не маялся? Видел учителей, музыкантов, водопроводчиков и колхозников, много и военных людей. Были и старые, и молодые, некоторые и баб не пробовали – нескладно мы живем, ох, нескладно. Всего же дурнее сам человек. Голос сорвет – вопит о равенстве, но именно равенство ненавидит. Куда ни забрось его – выстроит лестницу. То же и в зоне – есть верх, есть низ.

Всюду, как говорится, жизнь. А жизнь никогда не уравнивает, пусть она будет самая страшная, самая поганая жизнь. Либо она тебя вознесет, либо опустит – закон природы. Равняет не жизнь, равняет смерть.

До сей поры я так и не понял – все нации на земле таковы или у нас особая доля? Если одни мы такие на свете – понять бы, за что нас так Бог невзлюбил?

Был там один москвич – доходяга. Очень начитанный человек. Мы с ним нашли общий язык – беседовали несколько раз. Что его ждет, он видел ясно – мучиться осталось недолго, в семьдесят лет надежды нет. Поэтому разговаривал гордо, а думал смело. Он мне сказал: вернетесь домой, сразу достаньте и почитайте Петра Чаадаева. У этого гения все написано.

Я это хорошо запомнил и Чаадаева прочитал. Тяжелое и обидное чтение. Неужто мы в самом деле – «прореха»? С этим не хочется соглашаться, но то, что живем не как все, – это так.

Бежали мы в темную мокрую ночь. Был нам оставлен коридор, где перейти границу – мы знали. Но – не обошлось без накладки. Страна у нас, как известно, обильная, только порядка в ней нет как нет. Нас обнаружили раньше, чем следовало. Пришлось уходить от пограничников, и наши славные карацупы шли следом час или даже больше, нам и отстреливаться пришлось. Уже светало – черт знает что! – когда оказались на той стороне.

В каком-то смысле стрельба помогла – приняли нас гораздо радушней, чем это могло произойти. Мы скоро добрались до Харбина. Там был у нас издавна свой человек. Абориген, толковый, со связями.

Само собою, мы опоздали. В городе Лукина уже не было. И если по правде, я это предвидел. Не в том он был ранге, чтоб там задерживаться, его давно уже увезли. Именно этого я опасался, но кто же станет со мной советоваться? У каждого есть свои обязанности. Моя обязанность – исполнять.

Наш человек мне сообщил: Барвинский готов со мною встретиться. Он приглашает меня поужинать в одном гостеприимном местечке. Там и уютно, и вкусно кормят. Спасибо за такое радушие. Мы договорились с корейцем – он обеспечит мне тыл и отход.

В назначенный час свели знакомство. Устроились за укромным столиком. Четыре вертикальные связки из разноцветных бумажных фонариков нас отделяют от прочих гостей. Сидим, приглядываемся друг к другу.

Барвинский был малый не без обаяния. Из тех компанейских веселых людей, которые располагают к себе открытостью, живостью, легким нравом. Возможно, он и имел поручение ко мне присмотреться, но очень быстро повел он себя со мною так, как будто увидел старого друга. И это можно было понять. Нас связывали похожие судьбы. Он видел перед собой земляка, который бежал от лагерной дыбы, бежал с обидой на власть, на родину, на незадавшуюся жизнь. В конце концов, и мне и ему хотелось немногого – жить на воле. Он мне сказал, что рад нашей встрече, о подвиге моем он слышан, Глеб Федорович Лукин, бесспорно, пожал бы с радостью мою руку. Храбрых людей он уважает.

Лестные, лестные слова. Но легче от них на душе не стало. Глеб Федорович, комдив Лукин, как я и думал, недосыгаем. Стоило торчать у параша, стоило едва не попасть под пулю ретивого обалдуя. Когда начальству сильно захочется, можно рискнуть двумя бедолагами.

Он вновь усмехнулся, развел руками.

– Согласен, это может шокировать. Но если не прибегать к фарисейству и всяческим утешительным формулам, то кто мы, собственно, на земле, мы, исполнители приказов? Цемент истории. И не больше. Однако существует цемент высокой пробы, а есть негодный, который крошится и оседает, «прореха», как говорил Чаадаев. Впрочем, вернемся к бедняге Барвинскому.

Выпили мы раз и другой. Чем больше я на него смотрел, тем отвратительней себя чувствовал – муторно, тошно, мысли дробятся. Сидит за столом напротив меня пустышка, пришей-пристебай, балабол – кому он сдался, кому он нужен? Но мне-то что делать? Встать и уйти? Вернуться несолоно хлебавши? Вот это съездил в командировку! Будет о чем доложить начальству. Будет что вспомнить на старости лет.

Я медленно вытер салфеткой губы. Медленно встал из-за стола. Достал припрятанный парабеллум. Сказал:

– Измена карается смертью.

Спустил курок. Никто не услышал и даже не обратил внимания. Барвинский, по-моему, так и не понял, ни кто я, ни что я ему сказал, ни что его уже нет на свете.

Кореец ждал меня. В ту же ночь мы оба оставили этот город.

Границу на этот раз перешли без приключений, и очень скоро призвали нас пред очи начальства. Должен признаться, я не был уверен, что ждет меня сердечный прием. Задание выполнил я на троечку. Клиент мой Лукин жив и здоров, продолжит свою плодотворную деятельность. Прихлопнул я не туза, а шестерку. Как отнесутся к такой подмене, можно было только гадать. То ли мы справились, то ли нет. С другой стороны, выбора не было.

Отправили нас, так сказать, в карантин, где провели мы аж две недели, ждали решения своей судьбы. Услышали: все сделали верно, родина вас благодарит, примите правительственные награды.

Приятно. Награда – это награда, однако еще важнее сознавать то, что тебе по плечу гусарство.

... Да, он и впрямь любил это слово, произносил его с удовольствием. И неспроста. Была в нем двоякость, так же, как и в его усмешке, двоякость, любезная его сердцу, – иронизируя и посмеиваясь, легче сказать свое сокровенное, не опасаясь, что собеседник вас заподозрит в излишнем пафосе.

Люди входили и уходили. Играл оркестр. Когда он смолкал, до нас доносились удары волн, истово бившихся в парапет. Они звучали почти эпически – мощно и грозно. Как литавры.

– Эту историю Юдифь слушала молча, сосредоточенно, не прерывая меня ни словом. После затянувшейся паузы спросила:

– Вот что мне интересно – если бы вы получили приказ меня пристрелить, исполнили бы сами или попросили бы замены?

Славный вопрос. Я ее обнял.

– Я это выполню без приказа.

Но не сумел ее развеселить. Вышло, что оба мы отмолчались.

В начале сентября началась Вторая мировая война. Мои соотечественники радовались, что их обошла она стороной. Мне оставалось им посочувствовать. Я понимал, что их ожидает, сам уже жил в другом режиме. Командировки мои участились, и становились они все опасней. Бывало, что я сам себя спрашивал: какого рожна я когда-то выбрал такую сумасшедшую жизнь? В эти минуты я неизменно думал о том, как вернусь в Москву, и разукрашивал эту картинку разными радужными подробностями. Фантазия на тему «Юдифь».

Война надолго нас разлучила – она уехала с мальчиками в эвакуацию, а я регулярно забрасывал в тыл группы особого назначения, попросту говоря – диверсантов. Естественно, бывали проколы, однако, как правило, я справлялся.

Встреча, которую я так ждал, произошла уже в сорок шестом – я задержался на Дальнем Востоке. Помню, как я набрал ее номер, как долго повторялись гудки, один за другим, и как я нервничал. Но вот он – низкий цыганский голос, а мой – как нарочно – сел от волнения. Прокашлялся, пробормотал:

– Юдифь...

В ответ услышал:

– Где и когда?

Мы встретились на Суворовской площади – она называлась Площадь Коммуны – в громадной ведомственной гостинице, длинном, занявшем почти квартал, казарменном здании, закрепленном за Министерством обороны.

Был очень морозный февральский день. Мы долго присматривались друг к другу. На этот раз время взяло свое. Она постарела и поседела. Но это была Юдифь – остальное уже не имело большого значения.

Семья ее почти уцелела. Отец, тот умер еще в тридцатых, в войну она потеряла мать – старая женщина не совладала с тяготами и переездами. Где-то в пути она подхватила дрянное воспаление легких. Кончилось плевритом и смертью. Зато и супруг и дети – с нею.

Мертвым – покой, живым – любовь. Пусть даже в этом унылом номере, пусть на казенной простыне, под байковым чужим одеялом.

Она спросила:

– Сильно намыкались?

Я без актерства сказал:

– Через край.

– Что дальше?

И тут я ее огорошил:

– А дальше – на пенсию, в отставку. Вы рады?

Она рассмеялась:

– Я рада. Но чем же вы займетесь? Цветочками?

Цветы были страстью Шарлотты Павловны. Она это знала. Но мне не хотелось обмениваться такими уколами. Я был настроен слишком серьезно.

– Юдифь, я хочу написать пьесу.

Она огорчилась:

– О, боже милостивый! Опомнитесь. Зачем это вам? Я знаю многих достойных людей, которые сгинули в этом омуте.

– Не бойтесь. Я выживу. Буду писать о том, что знаю, и то, что чувствую.

Она вздохнула, сказала:

– Несчастный...

Потом провела обнаженной ручкой по поредевшим моим волосам, прижалась:

– Расскажите, как жили.

Что ей расскажешь? Разве я жил? А если и жил, то это была все та же бессердечная жизнь. И я припомнил одну историю, которая меня донимала. Я долго пытался ее забыть, но ничего не выходило.

Мне вообще досталась тяжелая, слишком тяжелая война. Всегда входил в нее с черного хода. Пусть ты годами дубил свою кожу, а все-таки – живой человек. Самое беспросветное дело – это водить по тылам диверсантов. Люди они молодые, отчаянные, и мало кто из них понимает, что им назначено, что их ждет. Выжили из них – единицы. В сущности, я вел их

на смерть. Счастливым выпадала быстрая, а неудачникам – долгая, пыточная. Страшная мученическая Голгофа.

Однажды я вел такую группу, проводником у нас был старик. Из местных, знал там каждую тропку. Он мне пришелся по душе – неторопливый и рассудительный. Прежде чем слово сказать, подумает. Прежде чем сделать шаг, примерится.

Вывел он нас, куда мы просили. «Теперь прощайте. Дай Бог удачи. А я – назад, пока не хватились». – «Спасибо, – говорю, – помогли нам. Выполнили гражданский долг». Пожал ему руку, он повернулся, и я всадил ему пулю в затылок. Там же мы его закопали.

Конечно, он этого не заслуживал, и, безусловно, он нам помог. Но через час он мог оказаться в умелых профессиональных руках, мог дрогнуть и дать на нас наводку. А я не смел рисковать – ни собою, ни теми, кто мне целиком доверился и за кого отвечал головой. Цементу положено быть надежным.

Не нужно было ей это рассказывать, но я, как всегда, ходил по краю. И я хотел, чтобы эта женщина, которая вошла в мою душу, любимая дочь, жена поэта, известного советской стране, счастливая мать двоих вундеркиндов, меня принимала несочиненным, таким, каков я на самом деле, и больше того, брала на себя хоть часть моего нелегкого груза.

Она лежала рядом со мною и долго смотрела в потолок, давно не беленный, в кривых потеках. Потом неожиданно произнесла:

– Вы все-таки должны понимать, уж если решили войти в словесность – рукой, которая это сделала, нельзя написать ничего доброго.

Я ей сказал:

– Поживем – увидим.

Могла бы, кажется, промолчать, если уж не могла посочувствовать. Могла бы понять, что этот старик четыре года нейдет с ума, грызет мою память, свербит мое сердце.

Но, видно, у каждого есть свой предел сочувствия близкому человеку. Пусть даже самому дорогому. В конце концов, мы с нею были люди из разной почвы, из разных недр, возможно, даже с разных планет. И все же она от меня не ушла, наш узел стягивался все туже. Странное дело, похоже, без этих опустошительных отношений жизнь казалась нам тусклой и пресной. Так продолжалось несколько лет.

Пришел на мою улицу праздник. Пьеса, которую я написал и отдал театру Советской армии, была им принята к постановке. Я даже и помыслить не мог, что я еще способен почувствовать такую мальчишескую радость. Я был уверен, что Дальний Восток давно отучил от всякой горячки. Конечно же, школа была на совесть, и все же полдня я был в эйфории. Выходит, что мне по силам и это – однажды сесть за письменный стол и написать своею рукою – сцену за сценой – такую драму, которую захочет сыграть столичный знаменитый театр. В горе мне легче жить одному, но радость была непосильной ношей. Радостью хочется поделиться. Тем более с близкой тебе душой. Я позвонил моей подруге, сказал, что мне нужно с нею увидеться – необычайные, важные новости.

Она откликнулась еле слышно:

– Мне тоже необходимо увидеться. Новости есть и у меня.

Повеяло чем-то недобрим, печальным. Но я отогнал дурное предчувствие. В тот день я просто не мог воспринять того, что звучало не в лад с моей музыкой. Она словно пела в моей груди.

Юдифь вошла и сразу увидела мою торжествующую физиономию. Вместо приветствия я сказал:

– Юдифь, моя пьеса будет поставлена.

Она отозвалась:

– Рада за вас. Но я пришла вас предупредить – знакомство со мной компрометантно. Сегодня арестован мой муж.

Веселая новость в счастливый день. Я задал глупый вопрос:

– В чем дело? Вы знаете? Хотя бы догадываетесь?

– Я знаю, что все у нас возможно. Уже ничему не удивляюсь. Простите, если слова мои резки и вам меня неприятно слушать.

Потом рассказала, что все эти дни они ощущали близость несчастья. Перед арестом ее поэт почти обезумел, метался по комнате, похоже, он чувствовал, что его ждет. Уже были взяты его коллеги.

Она замолчала. Молчал и я. Что ни скажи – прозвучит фальшиво.

Юдифь спросила:

– Вы не смогли бы узнать хоть что-нибудь? Если нет – скажите сразу. Я не обижусь.

Я хмуро пробормотал:

– Попытаюсь.

Музыка смолкла. И весь мой праздник был бесповоротно испорчен.

Не сразу, но просек ситуацию. Картина начала проясняться. Чем дальше, тем она становилась все безнадежней и безысходней. Когда-то гонцам с такими вестями рубили головы. Мне было хуже. Все чаще я вспоминал про кошку, которой рубят хвост по частям. События развивались неспешно, но – неуклонно – в одном направлении. Последние годы отца народов разнообразием нас не баловали.

Все кончилось тем, что ее супруг был обвинен в участии в заговоре. К тому же еще – в сионистском заговоре. И вместе со своими поделщиками он был приговорен к высшей мере.

Известие, что его уже нет, она приняла с ледяным спокойствием. Она сказала:

– Теперь мне легче. В отличие от вас он – домашний, ручной, неприспособленный к жизни. При этом имел несчастье родиться поэтом с независимым нравом. С таким вольнолюбием и непокорством он был обречен, и я это знала. Но жить в заточении он не смог бы. Вы сами себя законопатили, когда вам понадобилось, в клетку. А он задохнулся бы в лютых муках. То, что он больше не просыпается в камере, – великое благо. Я не устану благодарить Господа за его милосердие. Стыдно, что я в него не верила.

Ее слова меня удивили, задели и, больше того, обидели. Я мог жить в неволе, а он – не мог. Вот так. Половина России может, а он – ни в какую. Не так он создан. Уж подлинно – избранный народ! Уж подлинно – Восток, да не тот – ближневосточная неумность. А мы по сути – дальневосточники. Поэтому нас тянет к китайцам. У нас такое же неборимое дальневосточное терпение. Хома угей. Пусть идет как идет. У будущего – медленный шаг, а любит оно – совсем по-женски – тех, кто неспешен и равнодушен. Китайцы знают решительно все и про свободу и про неволю. И знают, что грань между той и другой – ничтожна. И больше того – условна. Совсем как наш человеческий век. Век это миг. А миг это век. Цените свой миг, но при всем при том – не придавайте ему значения.

Но этого я ей не сказал. Зачем? Для чего? Не было смысла. Я чувствовал, что судьба против нас. С кротовым упорством роет меж нами какую-то яму – и день ото дня яма становится шире и глубже.

Прошло три года. И вот однажды она явилась совсем иная. Прежняя, гордая, неукротенная. словно она наконец вернулась из многолетнего путешествия. Мы и любили друг друга как прежде – с тою же радостью и свободой.

Но перед тем как со мной проститься, она неожиданно помрачнела. И – точно собравшись с духом – сказала:

– Мой дорогой, я пришла за помощью.

Что должен я сделать? Помочь ей уехать.

С ее сыновьями. И навсегда.

Она вздохнула:

– Вам сложно понять. Была я не самой хорошей женой. Но после того как он лег в эту землю, мне стало трудно по ней ходить. Поверьте, что это так, и – простите.

И я помог ей, все время думая, что помогаю в последний раз. И мысль эта меня преследовала.

Когда мы прощались, она сказала:

– Странно, я все вспоминаю тот день, когда вы впервые вошли в наш дом – конфисковать наше имущество.

– Я тоже все время его вспоминаю.

Она улыбнулась:

– Немудрено. Вы и меня тогда конфисковали. Прощайте. Не поминайте лихом.

– Прощайте, Юдифь. И будьте счастливы.

Она покачала головой:

– Счастливыми мы с вами не будем.

Чистая правда. Все так и есть. Нам с нею надо было спастись, как-нибудь выжить, на это ушли все наши последние силы. И годы, когда мы еще могли чувствовать и испытывать счастье.

Однажды, спустя несколько лет, я получил от нее письмо. Хотите взглянуть? Оно со мною. Конечно, принято говорить: случайно оказалось со мною. Но обойдемся без этой уловки. Я постоянно его ношу.

Он протянул мне мятый конверт. Я осторожно извлек листки – такие же мятые, много раз читанные – можно было понять по их виду.

Письмо состояло из нескольких фраз. Должно быть, внезапно случилась оказия, времени не было, торопилась. Почерк был нервный, летящий, размашистый, впрочем, достаточно разборчивый. Большую часть этой эпистолы мне удалось удержать в своей памяти.

«Как поживаете, мой родной? И вспоминаете ли хоть изредка – о Вашей Юдифи? Хотелось бы верить. А слово «Ваша» – не просто слово, не просто штамп, не фигура речи. Женщина с первого взгляда чувствует, кто ее настоящий хозяин. Также, как собственные возможности.

Я постепенно пускаю корни на своей новой древней земле. Мальчишки стали уже мужчинами. Оба нашли свое место в жизни – их уже знают и уважают. Достоинно наследуют имя отца.

Я думаю о Вас часто и много. Не столько даже о человеке какой-то сверхъестественной храбрости, почти непостижимой отваги, сколько как о моем единственном, давшем мне мое бабье счастье.

Наша любовь была нелегкой, было в ней и нечто больное, но время сдувает все, что наносно, зато и отцеживает все подлинное.

Пусть Бог или та непонятная сила, которую называют Богом, хранит Вас в этом безумном мире. До этой поры она берегла Вас. Надеюсь, не оставит и впредь. Живите, покамест жизнь Вам будет не в тягость, а в радость. Не забывайте».

Я возвратил ему конверт. Он бережно спрятал его в карман, коснулся своей рюмкой моей. И усмехнулся:

– Я говорил вам: женщина чувствует запах судьбы. И безошибочно. Будем здоровы. Эту последнюю – за нее. Она была всем женщинам женщины.

Мы вышли на пустынную набережную. Еле мерцавшие фонари подсвечивали маслянистые волны. Они отливали клеенчатым блеском и омывали прибрежную гальку с медлительной дремотной ленцой, неслышно, беззвучно, как будто нехотя. Казалось, что море устало за день и тоже укладывается спать.

Остановились мы у дорожки, ведущей в гору, – нам оставалось преодолеть еще три витка, чтобы дойти до нашего Дома.

– Собрались в постельку?

Я удивился:

– А вы разве – нет?

– Еще поброжу.

Вскоро я вернулся в Москву. В столице мы виделись редко и скупое, хотя и жили с ним по соседству. Возможно, он себя и поругивал за эту внезапную откровенность. Впрочем, однажды застал к себе в гости и познакомил с Шарлоттой Павловной – полной седоголовой немочкой.

Стоило перешагнуть порог, и я оказался в оранжерее. Хозяйка была фанатичной флористкой. Цветы и заботы о них составляли все содержание ее жизни. Не увлечение и не страсть – смысл и суть существования. В комнате словно смешались запахи флоксов, гиацинтов и роз – они с непривычки кружили голову.

Хозяйка приветливо улыбнулась и сразу же ушла в свою комнату.

Он только вздохнул:

– Живем параллельно. К ней иногда приходят приятели. Бывшие ее сослуживцы. Теперь они тоже отставники. Выпьют, а после песни поют. Я-то сижу у себя – безвылазно. Не тянет, да и мешать не хочу. У них свой круг и свое застолье. И песни свои и разговоры.

Со смутной гримаской махнул рукой:

– Держатся друг за дружку. Расстрельщики.

Однажды в марте я его встретил. Он, безусловно, изменился, но вовсе не выглядел стариком. Более того, это слово даже не приходило на ум. Обычно, задерживаясь на свете, люди стремительно утрачивают привычную статью, меняется облик. Откуда ни возьмись, появляется шаркающий неуверенный шаг, подобострастный, растерянный взгляд – кажется, они просят прощения за то, что по глупому недосмотру еще занимают чужое место, зачем-то топчутся среди живых. Но он по-прежнему сохранял свое автономное самостояние, и скрытая сжавшаяся пружинка была готова прийти в движение.

Он деловито и сухо, – несколько не приглашая к участию, – сказал, что теперь живет бобылем – не стало его Шарлотты Павловны. Оранжерея приходит в упадок, трудно ее содержать в порядке.

На узких и белых губах появилась давно знакомая мне усмешка:

– Да, мучились рядом весь век, это правда. Но все-таки – рядом. Что-то да значит.

Спустя полгода его не стало. Узнал я об этом совсем случайно. Неделю окоченевший труп лежал среди гниющих цветов – никто об этом и не догадывался. Соседи уехали – жили на даче. Какие-то ведомственные люди, которым это было поручено, его схоронили, вернее, кремировали. Дошла ли эта весть до Юдифи, была ли еще жива – не знаю. Теперь-то ее уже нет на свете – в этом не может быть сомнений.

Ночью, когда томит бессонница, у изголовья толпятся люди, когда-то задевшие твою жизнь.

Что побуждает тебя сегодня тревожить их далекие тени? Желание унять свою память? Надежда осветить наши бездны? Но те, кто жил в двадцатом столетии, знают, что ныне уже смешно напоминать о слезе ребенка, а также о том, что она дороже, нежели вся гармония мира.

То простодушное время минуло, и навсегда ушли из истории наши последние гуманисты.

Так значит, это все то же безумие, все та же неутоленная жажда – запечатлеть, закрепить, записать все, что ты видел, и все, что слышал, упрямо делать свою работу? Да, разумеется, разумеется – работа, работа, всегда работа. Сперва заслоняешься ею от жизни, потом защищаешься ею от смерти.

И все же не только по зову горна привычно хватаешься за перо и горбишься над листом бумаги. Бывает, что всем твоим существом однажды овладевает потребность поспорить с победоносным забвением, которое накрывает людей своим бурьяном и чертополохом.

И вот присаживаешься к столу, чтоб удержать на краешке ямы и этого солдата империи, который знал, как пахнет судьба, и женщину, чье имя – Юдифь.

Габриэлла

Маленькая повесть

Да здравствуют юные девы и юные жены, любившие нас!

Юные девы помельтешили – попрыгали, поохотали, поплакали – и благополучно исчезли.

Первую жену он покинул – слишком была авторитарна. Вторая – бесшумная, еле слышная, смотрела на него с придыханием. Терзалась, что он ею тяготится. И вдруг пропала, оставив записку, – чувствует, что ему не нужна. Больше он попыток не делал.

Ночь набирает высоту, подобно взмывшему самолету, а сна, между тем, ни в одном глазу.

Старый приятель, брадатый гуру в белом халате, ему втолковывал: «То промежуточное состояние меж явью и сном, которое все мы считаем явью, уже не явь. Наоборот, скорее сон».

Так же как старость. Уже не жизнь. Скорее – промежуточный финиш.

– Привет, старик.

– Будь здоров, старик.

Так они обращались друг к другу. Были тогда неприлично молоды. Только вступили в пятый десяток. Можно сказать, еще мальчишки.

Коль сон нейдет, коли ночь длинна, не трать усилий – все бесполезно. Думай или мечтай о приятном.

И рад бы, да не могу. Не по возрасту.

Резонно. Стало быть, вспоминай. В зимнюю пору машина времени предпочитает скольжение вспять.

Надо нырнуть в пучину и выплыть на милом лирическом перекрестке. Кого-то или чего-то ждешь – женщину, важного решения, которое перевернет твою жизнь, счастливой догадки – и вдруг на лоб падает дождевая капля.

Сейчас из дырявого темного неба хлынет поток, а ты беззащитен – ни шапки на голове, ни зонта. Рядом печально переминается лобастый парень, куда-то опаздывает, а дождь уже хлещет – и все неуступчивей.

Какая бестолочь лезет в голову. Право же, в памяти литератора могло бы возникнуть что-нибудь дельное, приличествующее его профессии. Какая-нибудь достойная мысль о зарождении Вселенной или о скором конце истории.

Он достает дородную книгу. В свет она вышла совсем недавно, он еще не успел к ней привыкнуть. Так же, как к собственному имени, набранному типографским шрифтом массивными буквами, – Александр Безродов. В первые три-четыре дня чудится – произошло отторжение, имя к нему не имеет касательства.

Когда-то маститые коллеги советовали: смените фамилию. Безродов – неудачная вывеска, вам не помощница, наоборот. Какой-то неуместный намек на то, что вам было не суждено укорениться в родимой почве. Какой-то космополитский запах. Право же, лучше взять псевдоним.

Но он не последовал их совету. Пусть так. На безродовском челе будет гореть подобно тавру заклятье его безвестных предков.

Об этой книге мечтал он долго. Теперь, когда держит ее в руках, особого счастья не ощущает. Так уже было – он убедился, что у достигнутого успеха, как у любой обретенной победы, очень короткое дыхание. Хватит каких-нибудь двух мгновений, чтобы почувствовать пресыщение. Можно искусственно растянуть их, но это будет лишь имитация. Безродов не упускает возможности снова свести с собою счеты – суетный, жадный ловец удачи, неблагодарный, как все счастливики.

Ни сна, ни покоя. Ни озарений, ни розовых целебных картинок. Пустая, бессвязная чехарда.

– Еще одна пыточная ночь, – невесело думает Безродов.

Снотворные давно уж не действуют.

На ум приходит шуточный совет мрачного немца: когда вам не спится, поможет мысль о суициде – она наиболее утешительна. Недаром же помогла скоротать многие бессонные ночи.

Прав или нет угрюмый философ, Безродову были не по душе любые шутки на эту тему. В них слышалось не слишком скрываемое неуважение к самоубийцам.

Он сразу же вспоминал Фадеева, высокого, стройного, наделенного мужским обаянием, да и статью. Они ни разу не обменялись и словом – Безродов был юн и безвестен, а тот в литературской иерархии, по сути дела, был в маршалском ранге, уверенно нес свою гордую голову с нестарящей платиновой сединой. Распоряжался легко и привычно не только судьбами тех героев, которых он сам породил на свет, но участью реальных людей, таких же писателей, как и он.

Понятно, что это коловращение, похожее на танец над бездной, не оставляло ему ни пространства, ни времени для битвы со словом. Томились незавершенные книги, брошенные забытые рукописи, а сам он давно уже превратился не то в комиссара, не то в эмиссара. Мелькали вокзалы и аэродромы, трибуны и кафедры, аудитории, чужие страны и города, а жизнь давно уже стала бессмысленной и проигранной по всем статьям.

Безродову все открылось позднее, когда казалось, что самое страшное, грозившее этому человеку, уже не могло с ним произойти. Деспота более нет на свете, а он остался – и все еще в силе, пришла великолепная зрелость. Но тут-то он и поставил точку. Три года из главной усыпальницы, поблизости от кремлевской стены, летела припасенная пуля.

Эта отложенная казнь, его запоздалое искупление и столь безжалостный самосуд, перевернули и сотрясли безродовскую юную душу. Однажды он сказал собеседнику, что именно в то роковое лето он словно простился с собственным возрастом, не повзрослел, а постарел. Ушло его юное честолюбие, которое отвлекало от дела, а вместе с тем помогало жить.

Но то была престранная жизнь, в сущности, не вполне настоящая – горбатая жизнь над белым листом. Минули долгие десятилетия, а он и поныне не может унять, хотя отчетливо сознает: приверженность к письменному столу в столь древние годы рискует вызвать пренебрежительное сочувствие. В усталых взглядах благожелателей нетрудно прочесть: пора успокоиться.

Понять их можно. Страсть к сочинительству в подобном возрасте неприлична. Достойнее дать о себе забыть, почитать книжки, в свободное время освобождать свои пыльные ящики от старых писем, от старых записей – они не будут уже использованы, уже не пойдут, как прежде, в дело – выбросить залежавшийся хлам, готовиться к неизбежному часу.

Поэтому он никогда не рассказывал о том, что пишет, – когда его спрашивали, отделывался старым присловьем: «на тот свет собрался, а просо сей». Много же он зарыл семян, так и не проросших сквозь землю!

Он вновь внушает себе, как ребенку:

– Не думай о горьком, о том, что болит. Вспомни о чем-нибудь заветном.

Впервые эти слова произнес брадатый гуру в белом халате:

– Если снотворное не действует, не мучайтесь – вспоминайте заветное.

Рецепт был опасен, но искусителен. Всего лишь один поворот рычага и жизнь, в которой он жил, отступала, а жизнь, которой давно уже не было, казавшаяся почти придуманной, недовостановленной, обрывком сна, вдруг воскресала и возвращалась.

По опыту он отлично знал, что эти игры опустошительны, они ему обходятся дорого и с каждым разом цена все выше, но он был готов платить по счету – сегодняшний мир был слиш-

ком скуп, не мог предложить ничего похожего, и оставалось лишь погружение – на тридцать, на сорок лет назад.

Известно, что всякое возвращение жизнеопасно. Добра не ждите. Но память всегда была госпожой. Она усаживала за стол, она диктовала выбор сюжетов, определяла угол зрения, подхлестывала сбоившую мысль.

Не было большего искушения, нежели нарушить запрет, смело войти в котел с кипятком, чтоб выйти оттуда помолодевшим, как в старой сказке, Иваном-царевичем, готовым к любви и долгой жизни.

И сразу – почти на полвека назад! И сразу, во всей своей зимней прелести предстанет ожившая Злата Прага. Ах, Злата Прага под серебристым февральским снегом – диво Господне! Откуда этот русский мороз?

В поезде он почти не спал. Европа оказалась нарезанной на слишком миниатюрные части. Пять-шесть часов под стук колес – вставайте, сударь. Вновь пограничники.

Кто их придумал, эти границы? И что за шутник сшил континент из этих разноязыких лоскутьев? Когда его поезд, урча и фыркая, останавливается на пражском вокзале, он мрачно вздыхает: могу представить, как я сейчас прельстительно выгляжу. Небритый, невыспавшийся, помятый. На хмуром недовольном лице застывшая кривая усмешка – ну что же, вперед, московский автор, ваш срок отщипнуть кусочек славы от европейского пирога, порадитесь своей шумной известности.

Но может быть, стоит поменьше ерничать? Хотя бы в эти несколько дней попробовать к себе отнестись с большей серьезностью и уважением? Всегдашний глум над самим собою – вполне мазохистская игра, родившаяся из вечной боязни внезапно оказаться смешным. Игра вероломная и опасная – можно привыкнуть к этому гаерству и разменять свою жизнь на шуточки.

А вот и Добеш. На полных губах навек приклеенная улыбка. С приездом. Что скажешь? Собачий холод. Сибирь наконец пришла в Европу. Все верно. И я – ее посланец. Куда мы отсюда? В отель «Амбассадор». Место с проверенной репутацией. Там останавливался Мальро.

Как было в пути? Не слишком морозно? В вагоне было тепло. Но снаружи... Польша совсем заледенела. Повсюду поднятые воротники и нахлобученные конфедератки. Что делать? Терпите, братья-славяне.

Братья-славяне (они представлены сияющим Добешем) только вздыхают. И тоже поминуют Сибирь. Безродов посмеивается. И снисходительно, как взрослый дитятку, объясняет: зима как зима. Ничего сверхъестественного. И Карел Добеш разводит руками, почти виновато с ним соглашается: да, в самом деле, мы тут, в Злата Праге, разнежились в умеренном климате. О, разумеется. Можно понять. Гость, представитель великой империи, с первого же шага почувствовал это лукавое обаяние.

Все верно. Путеводители правы, здесь каждый камешек дышит историей. Но суть не в этой расхожей фразе. На сей раз история не нависает, не плющит, она уютна, тепла и у нее домашняя мягкость.

Он понимает, что неосознанно боялся свидания с этим городом, боялся, что будет разочарован. Скорее всего, европейская внешность предстанет поблекшей и уцененной, регламент Варшавского договора предполагает унификацию не только в политике, но и в жизни, а если традиции протестуют, тем хуже для них, ибо их назначение – покорно обслуживать современность.

Однако же Прага сопротивляется, она продолжает свой Резистанс на сей раз бесшумно и неприметно. Она сохраняет себя по-швейковски – не заявляя о несогласии, но ухитряясь существовать так, как давно привыкла, по-своему. Если нельзя быть собою для мира, то тем важнее отгородить, отбить свое внутреннее пространство, остаться собой для себя самой.

Карел Добеш, лучезарный блондин, переложивший на чешский язык книжку безродовских рассказов, отечески опекает гостя. Он и радушный хозяин и гид, больше всего он озабочен тем, чтоб писатель из сверхдержавы, наследник Пушкина и Толстого, понял, как хороша его родина. Однако чем ближе они знакомятся, чем большей становится расположенность, тем откровеннее разговор, и Карел Добеш вдруг признается: бесспорно, Прага – прекрасный город, но он и поныне себя не чувствует всецело своим, он – из Моравии. А мораване – это известно – такие уж люди, широкие, щедрые, как говорится – душа нараспашку. Пражане – другие, совсем другие. Сдержанные, себе на уме.

Безродов вежливо соглашается – людское сообщество разнообразно. Но тут же мысленно комментирует, словно привычно заносит в блокнотик очередную попутную запись: странное дело, везде и всюду слышится этот надтреснутый зов – возможно, вы более имениты, но наша домашняя травка мягче – пражанин вспомнил моравские корни.

Добеш, однако ж, сразу спохватывается. Нельзя, поддаваясь старой досаде, забыть о своей сегодняшней миссии. Питомец прославленной словесности обязан заболеть его городом, его волшебю и красотой. Честной великодушной Моравии придется нынче посторониться, что бы то ни было, чешское сердце бьется на этих священных улицах. Безродов с усилием гасит усмешку – и здесь, как всюду, меня вербуют!

В голосе Карела звучит подлинное воодушевление. Русскому другу нет нужды усердствовать и напрягаться. Наоборот. Только внимательно слушать и всматриваться. Тогда он почувствует эту Влтаву. Чешскую сакральную Влтаву. Истинно чешскую архитектуру. Более того – чешский воздух.

Каждый восторженный период заканчивается этим рефреном – стоит лишь ему обратить внимание гостя на улицу, здание, на все, что оказывается в поле зрения. «Чешские кнедлики. Чешские дамы. Чешские газеты и книги. Чешские пенсионеры».

Очень возможно, что тут была опаска на уровне подсознания: писатели предпочитают абстракции. Познай же нас через органы чувств!

Безродов оправдывал ожидания. Он вглядывается. Он переспрашивает. Он словно вбирает в себя этот город, преподнесенный ему в подарок.

Хозяин лучится еще щедрее. Как истинный оболыститель, он чувствует: московский гость почти завоеван, дело в решающем штрихе, древняя Прага должна ожить и показать: она и сегодня неотразима и победоносна. Сейчас они зайдут в Союз списователей, он познакомит его с женою, они пообедают все втроем – похоже, что гость уже утомился.

Безродов вежливо протестует – нет, не устал, все еще бодр, но, разумеется, будет счастлив. Что означает «Союз списователей»? Все очень просто – Союз писателей. Безродов неудержимо хохочет – братья-славяне попали в яблочко. Определили самую суть этой своеобразной профессии. Списователи. Одни – с натуры. Другие, проще организованные, – со старых, плохо усвоенных книжек. Есть, правда, белые вороны – странные чужеродные птицы – видят вдруг то, чего до них не видели, и достают из мусорных куч острыми клювами новое слово. Но этих удачливых кладоискателей в дружной писательской семье не так уж много – и слава Богу!

Карел покачивает блондинистой, ладно ухоженной головой. Не зря Габриэлла, его жена, считает, что писатели – дети. Чем одаренней, тем больше в них детского. В своей комиссии у Габриэллы широкое поле для наблюдений.

Но вот и место ее трудов – несколько выщербленных ступенек, лесенка на второй этаж. Здесь – на отшибе от главного здания – и расположено око в мир, писательские внешние связи. Прощу вас, входите. Нет, после вас.

Из-за стола поднимается женщина, совсем не похожая на пражанок, встреченных на улицах города. Решительно ничего славянского. Что-то мажарское или креольское и в этой вызывающей смуглости большого скуластого лица, и в угольно-черных тревожных глазах, и

в черных – под цвет ее глаз – волосах. И гибкая – не по росту – грация большой осторожно ступающей кошки.

Это моя жена Габриэлла. В голосе Карела внятно звучит скромное торжество победителя. Это и есть завершающий штрих, яркий финал, полнозвучная coda. Вот каково оно, Злата Прага, твое восхитительное лицо.

Они обедают в «Валленштейне» – после дохнувшего льдом и стужей неевропейского мороза здесь было особенно уютно, недаром вокруг чуть слышно щебечут нежные парочки – трое пришельцев вторглись в прибежище любви.

Но не до парочек – не таясь, они присматриваются друг к другу. Общение дается непросто. По-русски – в отличие от супруга – она говорит не слишком бойко, долго подыскивает слова. Безродов должен ее простить, второй язык у нее – французский, а русский знает она условно. Русский ее язык прихрамывает на обе ножки. Безродов смеется: ну что же, поковыляем вместе. На славном языке Мопассана – с усилиями и долгими паузами – он медленно составляет фразы. Учил его в последнюю очередь, учил без должной самоотдачи, недобросовестно, по-школярски. Не думая, что настанет день, когда он окажется так ему нужен.

Косноязычие тем несносней, что Габриэлла с первой минуты послала его в глубокий нокдаун. И если Карел предполагал при всем моравском простосердечии такое развитие событий, он может испытывать удовольствие – победа Праги вполне очевидна. Влюбчивое сердце Безродова и прежде было непрочным щитом. Годы добавили ему сдержанности, но не брони – не раз и не два он пробовал себя утешать: возможно, этой своей отзывчивости я и обязан тем, что замечен, в строчках моих не только чернильная, но человеческая кровь.

Звучало, разумеется, лестно, но легче от этого не становилось. Досталось сверх мер. И вот ощущаешь знакомое сотрясение почвы, земля кренится и оседает, мгновение – и ты пропадешь.

За окнами – февральские сумерки, призрачный, дымчатый пляс теней. В это время «Валленштейн» безлюден, тихие парочки, то и дело обменивающиеся поцелуями, и составляют всю клиентуру. Безродов все ждет, когда Карел Добеш прокомментирует умиленно: «Чешские любящие сердца». Впрочем, навряд ли. Он предпочтет более строгую характеристику. «Чешские молодые люди» – звучит, пожалуй, репрезентативней. Может быть, «чешские влюбленные» – это лиричнее и трогательней. Однако на сей раз Карел помалкивает, думает о чем-то своем.

Меж тем их обед подходит к концу. От теплого зала, от полутьмы, от хмеля и хусы Безродов чувствует приятную легкую усталость. Сейчас им предстоит расставание. Красавица Габриэлла исчезнет. Он загодя готовит себя к тоскливому вечеру в отеле. В умеренной дозе скука бывает даже приятной: ляжет пораньше. В теплой постели, с книжкой под боком, спокойно перелистает события наполненного до краешка дня. За окнами будет идти чужая центрально-европейская жизнь, вдруг схваченная арктической стужей. Должно быть, и впрямь это он занес ее из скифской языческой сверхдержавы.

Но нет, гостеприимство супругов неистоимо – вечер в отеле с записями в путевом дневнике, с книжкой в руках отодвигается. У Добешей – иная программа. Вечер они проведут в «Семафоре» – «Это тебе необходимо. Увидишь чешскую молодежь».

Крохотное бойкое гнездышко, студенческая разноголосица, разгоряченные юные лица. Все веселы, беспричинно веселы. «Они велят себе быть веселыми», – решает почему-то Безродов.

Он злится на самого себя. Откуда вдруг взялась эта мысль? О, разумеется, неслучайно. Явилась она к нему не вдруг, несмело мерцала в его сознании с первой его минуты в Праге. То ли она не могла обрести законченную ясную цельность, то ли он сам ей мешал дозреть. Странно. Писатель должен спешить за первым же, смутным подобием мысли. Не странно. Он – советский писатель. Это совсем особый писатель. Вовсе не рвущийся додумать.

Музыка в «Семафоре» играет неутомимо, почти без пауз, словно боится остановиться – если умолкну, то навсегда. Больше всего огня и страсти выплескивает певица Ханна. Она поджигает заполненный зал, как спичка, поднесенная к хворосту. Голос надтреснутый, хрипловатый, словно преодолев тяготение тверди земной, взмывает, взлетает вместе с ее рыжими прядями, он полыхает, как сгусток пламени.

– Опасная дама, – бормочет Безродов.

Прекрасная Габриэлла кивает.

– О, да.

– В ней столько кровей намешано, – озабоченно сообщает Добеш. – Кроме словацкой и еврейской, есть и венгерская струя. Атам, где мадьяры, там и цыгане.

– Страшный коктейль.

– В ней много всего, – негромко говорит Габриэлла.

Немного помедлив, она рассказывает, что рыжеволосая певица замужем за молодым актером из «Рококо», но несколько лет живет с одним пожилым режиссером. Он некрасив и коротконог, но в Праге им принято гордиться, а это для женщин, таких, как Ханна, главное мужское достоинство – прежде всего будь популярен.

Похоже, ее неприятно задело, что Ханна произвела впечатление, – решает Безродов, и эта догадка вдруг доставляет ему удовольствие – неужто разыграло ревнивое чувство?

Карел отечески улыбается.

– Габи не любит успешных женщин.

Она возражает, причем по-чешски. Так повторяется несколько раз.

«Под каждой крышей есть свои мыши, – сочувственно отмечает Безродов, – и пражская крыша не исключение. Но странно, эти домашние страсти не раздражают, так органично вписываются в общую ауру. Они словно часть домашней жизни, которой живет весь этот город. Вдруг возникает ощущение, что не было ни Второй мировой, ни Лидице, ни немецкого плена. Может быть, в этом и состоит чешский секрет – жить в своем мире, всегда пребывать в настоящем времени, не приближаться к государству. Впрочем, возможно, я все придумал. Но если я угадал – завидно. Мне это так и не удалось».

При этой почти неотступной мысли он сразу мрачнеет.

– Вас что-то расстроило?

В чутье этой женщине не откажешь. И в зоркости тоже.

– Нет, все чудесно.

– Пан Александр утомился. Слишком насыщенным был этот день, – Карел берет вино на себя.

На сей раз она соглашается с мужем.

– Мы невнимательные хозяева. Конечно же, вам пора отдохнуть.

Они провожают его до «Амбассадора». Добеш уверен, что завтрашний день будет не менее интересным. Есть знаменитый старый художник. Мы навестим его. Ты увидишь абстракционизм старика!

Бог ведь почему, но он ощущает не слишком понятный укол досады. Веселое дело. Придется паяльничать на упражнения геронта, который старается доказать, что он современен и авангарден. Я уже понял, что Злата Прага – законная часть свободного мира, не отстает от него ни в чем. Не уступает ни в зрелости общества, ни в дерзости своего искусства. Все время мне желают напомнить: мы все же не такие, как вы. Благодарю вас, я уже понял.

Он призывает себя к порядку. «А что это с тобой происходит? Выиграли великодержавные комплексы? Как мило. Прими мои поздравления».

И понимает, что дело не в старце, бегущем за юными современниками. Тем более, не в странной обиде за отодвинутых реалистов. Суть в том, что ему все трудней любоваться

супружеским счастьем Карела Добеша. Красивое благородное чувство. Делает честь его душе. Настроение окончательно портится.

Но Добеш этого не замечает. Он братски обнимает Безродова.

– Я позвоню тебе завтра в полдень.

Габриэлла загадочно улыбается. Потом желает гостю терпения – оно, безусловно, ему поможет дождаться обещанного звонка. Прекрасная Дама не упускает возможности уколоть благоверного. Что она против него имеет? Или же я ей не угодил? Может быть, кроме успешных женщин, она не терпит успешных мужчин? К тому же явившихся из империи.

Не разберешься. В гостиничном номере он еще долго не гасит света. Мятажная юношеская тоска срывает его с закипевшего ложа, он застывает у подоконника. Сквозь плохо задернутые шторы видны лишь стены уснувших зданий и несколько освещенных окон – какие-то грустные полуночники, такие же беззащитные души, как я, не знают отдохновения.

Он, то и дело, повторяет вчера еще незнакомое имя, оно звучит в нем, как баркарола, сопровождающая гребца. Новая песнь моя, Габриэлла.

И впрямь – перенасыщенный день. Стучащий по рельсам Европы поезд – недаром в Бресте меняли скаты – пражский вокзал, морозный город в стеклянном дыму жгучего воздуха, обед в «Викарской», визит в «Семафор», это воинственное веселье, музыка во время спектакля, во время антракта и после финала – мы живы, несмотря ни на что!

Пора улечься. Завтра придется смотреть на холсты ветерана кисти, выпитывать чешский абстракционизм.

Как быстро изнашиваются слова! Совсем недавно казались свежими, несли в себе какой-то манок, и где он? Уже пропал и след. Самое грустное открытие, сделанное за годы писательства: недолгая, быстрая молодость слов. Их время кратко, как время бабочки, особенно когда им придается некий революционный смысл – не то прогрессивный, не то протестный. С какой-то непостижимой скоростью все эти ярыге ярлыки вдруг обретают почти полярное, анекдотическое звучание.

Вчера еще гонимое слово, воспринимавшееся как вызов, становится не только поблекшим, но – что совсем обидно – комичным. Стоило снять с него запрет, и испарился его соблазн.

Уснуть бы. Бессонница моя взрывчата. Я не способен думать о Праге, о Кареле Добеше, о Европе, о собственной задуманной книге. Даже об этой рыжей Ханне, которая спит с пожилым режиссером, пока ее молодой сожитель зарабатывает свой хлеб в «Рококо». Я думаю только о Габриэлле. Вот так ее зовут – Габриэлла. В старом заслуженном отеле, гордящемся своей репутацией, неподалеку от Вацлавской площади, в номере, где томлюсь на кровати, хранящей тайны безвестных странников, думаю только о ней одной.

Ну что же, на сей раз – не о себе. Такое случается нечасто. Недаром же людям с тобой несладко. Заметно, как они ошетиняются. Давно уже раздражаешь ближних.

Но сам ты, похоже, сумел срастись с этой своей бездарной жизнью. Пригрезились несхожие женщины, которых ты звал своими женами, наверно – без больших оснований. И где они? Ни той ни другой. Обоих ты ни в чем не винил, а, впрочем, не винил и себя – виновна непонятная сила, вложившая в твои пальцы перо. Понятно, что она тобой правит, и действуешь ты по ее указке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.